

Зато утро! То утро!

Едва тетя Дуся вошла в университет и уселась в своей кассе, молва о ее возвращении мигом облетела аудитории.

Шла лекция, запомнил какая, — да разве это имело значение! — как дверь распахнулась, и, нарушая все культурные обычаи, в проеме нарисовалась скобоченная фигурка нашей вечной вахтерши по кличке Старуха Изергиль — никак не меньше! — и старуха, бывшая партизанка, воскликнула:

— Дуся вернулась!

Лекция была повержена! Мы дружно зааплодировали, громче всех, конечно, наша произвольно сплоченная команда, и до перерыва лектору пришлось смириться с гомоном неутихавшей толпы. В перерыв мы покатались к столовке, первой шла Люсетта с почтовым конвертом, зажатым в кулаке.

Но тетя Дуся нас даже разочаровала. Нет, увидев нас, конечно, заулыбалась — однако от какого-то студента, пробивавшего чеки, не отвлеклась, просто помахала нам ладошкой, и уж после того повернулась к нам. Губки ее были слегка подкрашены, как всегда, она улыбалась, кутаясь в кофточку, а я-то все искал взглядом на кофточке орден Красной Звезды. Надеть его было самое время — ведь одержана такая победа!

Мы что-то квакали хором и врозь, Люсетта протягивала конверт, а тетя Дуся махала рукой и восклицала:

— Да вы что! Да ребята!

А потом тарыхнула неожиданно:

— Я просто приболела на денек, да и все!

— И все? — поразился Скок.

— Ну, если вы про ревизию, так я ведь каждый день всю выручку сдаю. Согласно кассе. И никаких недостатков у меня быть не может.

Мы стояли ошарашенные. А она вздохнула и добавила, чтобы до конца утешить:

— Ну да, я свои каждый раз добавляла. Ведь я одна, тратить не на кого. А вы потом возвращали!

И она засмеялась.

— Ни один из вас меня не подвел! Ни один!

Труднее всего досталось Люсетте. Пришлось возвращать по принадлежности все эти рубли и трешки, даже мелочь. Но, собирая деньги для тети Дуси, записей не вели, и эта раздача затянулась.

А в тот раз мы усадились за стол, меню все то же — щи, котлета, чай — и минут пять, вопреки всем антирелигиозным учениям, повторяли наперебой разным интонациями: «Слава богу! Слава богу!» Потом подумолкли. И тут Вовка Потников проговорил:

— Выходит, мы переусердствовали?

— Ты что-о-о! — округлила глаза Люсетта.

— Нет, нет, — опроверг сомнение Скок. — С какими людьми познакомились!

— Да ведь это еще и партийно-советская печать в действии, — сострил Минибай.

— Печать-то тут при чем? — не согласился Потников.

— А может, просто, — подумал я вслух, — и надо было, чтобы все это случилось! И травля, и несогласие, и шум, и разговоры все эти...

— Кому это надо? — удивилась Люсетта.

— А может, и самим нам? — задумался Вовка.

— Бросаться на помощь надо всегда, — сказал Минибай. — Вот нам! Придется разбираться в разных склоках, а потом расписывать в газетах, а? Ну и как это делать, если в жизни заступиться не умеешь!

— Будешь большим начальником! — хихикнула наша единственная дама. — Редактором, секретарем райкома. Обкома.

— С какого угару! — фыркнул Минибай. — Нам бы здесь-то разобраться!

Это был маленький такой треп, наивная и юная болтовня после несложного испытания. И я все думал о тете Дусе. Кто же она на самом деле? Ну, фронтовичка. Но почему всего-то-навсего кассирша в студенческой столовке? И почему кормит нас за свою ведь крохотную же зарплату. Что за службу она себе избрала?

Так и не нашел я тогда ответа этому. И все, что происходило в ту пору, находилось еще очень далеко от благодатных времен. Но совсем близко от времен испытаний — тяжелой и горькой войны. От которой хотелось убежать как можно дальше. Да поскорей. Поскорей!

Но не всякие побеги совершаются скоро. Порой требуется время, да и немалое, чтобы понять, куда и зачем бежать, с какой целью, да если и бежать — то надо бы всем народом?

## 8

Рано ли, поздно ли, но я получил место в общежитии на улице героя Октября Щорса. Это было двухэтажное сооружение, склепанное, наверное, в 30-е годы неведомо под кого. Нам же достались сравнительно большие комнаты, вдоль стен которых стояли железные койки с ватными, образца тех же лет, матрасами, а посередине — сравнительно длинный простой стол, где могли сесть сразу все жильцы, и кровати было семь! Таких комнат, как помню, насчитывалось немало, да между ними еще несколько — поменьше, а домов с холодными подъездами — штуки три. Топились общежития дровами, и печи имелись в каждой большой комнате, одним боком выходя в соседнее помещение — типовое решение обогреть старых лет.

Полубарак, полухибара, вода — только холодная да скворечник во дворе. Девчонок сюда не селили.

Общага на Щорса считалась если не местом ссылки, то добровольного изгнания, камчатка в большой стране, и еще не каждый желал ехать на этот край горюда даже в целях, важнейших для студюозов, — экономия своих жалких средств: ведь филологи, как и всякие там историки и несчастные журналюги, все, кто назывался гуманитариями, получали стипендию самую малую даже в пределах одной альма-матер. Математикам, к примеру, рублей на тридцать давали больше — то ли за особые умственные возможности, на которые рассчитывало в последующем народное хозяйство, то ли понимая саму даже ценность их предстоящих познаний. Наши познания ценились дешевле.

И меня наша конура на Щорса угнетала как только могла: то ли дело в тепле у Анапы, где тесновато, но дружно и удобно, да и гораздо ближе. Но 200 рэ на жилье! Это было тяжело по сравнению с всего-то пятнадцатью рублями здесь.

Жизнь на университетской камчатке была глухой, безрадостной, особенно холодной зимой и бесконечно грязной весной, да и летом, когда часть пути приходилось преодолевать по жидкому месиву. Однако бытие требовало терпения, да и у экономии свои законы: мама перестала посылать мне 200 за койку у Анапы, но прибавила до 400 расходы на еду. Но ведь еще и стипендия появилась. Всего 620! Однако и без стипендии я бы уже не пропал. Но моя французская контрреволюция продолжалась.

Однажды после звонка, когда группа французского языка неспешно собирала свои сумочки, а Сара Христофоровна отчего-то задержалась, я с тайным умыслом задал ей совершенно необязательный вопрос — как, мол, она относится к Жан-Поллю Сартру и его новомодному учению. Спросил очень мягко, голосом не всезнающего бойца, а крадливо, как мало чего понимающий и недообразованный интеллигент в первом поколении, разумеется, не владеющий французским языком, желающий сам докопаться до истины.

Боже! Да Сара Христофоровна просто испугалась. Она сложила ярко накрашенные губки сердечком, широко распахнула вишневые глаза и слегка побледнела — впрочем, ее лицо всегда было очень бледным, будто чрезмерно напудренным. Зато всегда добрым.

Настала неловкая пауза, и одна из историчек — то ли Марианна, то ли просто Марина — из местных, уходящих после занятий домой — большая, черноволосая, с горбинкой на носу, ловко оценив положение, спокойно и с достоинством разрядила его.

— Экзистенциализм, — заметила она, — одно из левых, во многом буржуазных течений. Жан-Поль

Сартр по-разному оценивается нашим обществоведением.

Она произносила эти слова неторопливо и солидно — вовсе не как смущенная студентка, а хотя бы как младший ассистент исторической кафедры. И Сара Христоворова ей согласно кивала.

Я же испытывал внятное ощущение, что меня хотят облапошить! И мне это нравилось, представляете! Я, конечно, не понимал толком, что такое экзистенциализм. Но, по крайней мере, читал «Только правду», а они, похоже, нет. А мне не следовало лезть на рожон! Не требовалось признаваться, что читал Жан-Поля Сартра, наверное, симпатичного мужика, проживающего где-то в Париже. Я явно выигрывал, скромно затеяв разговор на сложную тему, при этом прикидываясь простаком. Да так ведь и было. Требовалось сыграть роль в задуманных интересах.

Я выдохнул, будто хоть что-то понял, кивнув, Сара Христоворова распрямила ярко-красные губки и довольно улыбнулась, Марианна-Марина заслонила своей китовьей массой меня от француженки, а когда пространство освободилось, я вновь увидел лицо Сары Христоворовны, обращенное ко мне.

Она смотрела внимательно, сосредоточенно и, казалось, снова спрашивала себя обо мне! Кто он? Глупый студентка, которому она не дала послабления на вступительном, или, может, не дай бог, какой-нибудь, в лучшем случае, правдоискатель, лезущий в материю, которые не только этому недопеску, но и ей, простой преподавательнице — но французского же, а значит, иностранного языка, — не по чину?

Ожидавшее меня далее превзошло все возможные чудеса.

Когда началась сессия и подступил мой несчастный французский, Сара Христоворова передала через общих соучениц, чтобы я не торопился, пришел на экзамен последним, далеко не отходил, потому что все ее ученицы, а мои соученицы по французскому ей известны, и долго спрашивать она никого не будет. А я — все это хорошо понимали — случай особый. Эти сикилявки, соседки по французскому, оглядывали меня сочувственно, а иные — снисходительно. Мне же не оставалось иного, как крепко сжимать зубы и молить судьбу об удаче — я ведь честно занимался, всю подтягивал себя и старался изо всех моих нефранцузских сил.

Экзамен проскочил стремительно. Девчонки заикались и высказывали, трясая зачетками. Вышла Лидия Павловна, лаборантка кафедры иностранных языков, которая иногда принимала внеаудиторное чтение, улыбнулась мне:

— Вы подождите, пока последняя выйдет. Сара Христоворова хочет с вами побыть наедине.

Вот так да! У меня глаза на лоб полезли. И в то же время я должен был улыбаться. Дурацкий, пожалуй, получался образ.

И вот я зашел. Сара Христоворова торопливо поздоровалась, указала на стул перед собой, и я задрезжал: этот стул мог оказаться электрическим. Далее мне полагалось взять билет и, вроде, без подготовки отвечать по нему, как тогда, при вступлении, у историка.

Но Сара Христоворова не предложила мне повысить балл, даже если я что-то намекаю ей. Она совершила подвиг. Как-то неторопливо, но твердо взяла мою зачетку, полистала, открыв ее на нужном листке, и обратилась ко мне, вглядываясь своими огромными коричневыми вишнями в мой, явно сблелнувший, лик:

— Вы сможете...

Она затормозила, подбирая слово, а, подобрав, начала снова:

— Вы сумеете не проговориться товарищам? А то... А то будет плохо!

Она улыбалась, но при этом крепко волновалась. И только в следующий миг я понял, на что она решилась. Я кивнул, она взяла ручку и поставила мне «хор».

Не думаю, что в моих глазах появились слезы. Они появляются у меня сейчас, когда я об этом рассказываю. Многие десятилетия спустя.

## 9

Общига на Щорса оказалась местом общественно затхлым. Едва мы выключали свет, где-нибудь за полночь, как жизнь в нашей комнатенке оживала. На стол, покрытый клеенкой — особенно зимой, в холода, видно, и им жилось несладко, — вспрыгивали через стул отвратные огромные, с хорошую кошку, крысы. И если кто оставлял там корку, начинался визг и дележ, сопровождаемый поначалу и нашим визгом.

Многие жалобы комендантше ничего не меняли — она отнекивалась тем, что сильный крысиный яд опасен для человека и один случай, правда, в другом общежитии иного института, уже произошел, когда вместо крысы отравился студент, едва откачали. Борьба, в общем, с крысами власть не желала, и мы эмпирически пришли к выводу, что следует относиться к ним если не как к друзьям, то, по крайней мере, снисходительно, как к неизбежности. Во-первых, требовалось предупредить их нападения и крошки, если таковые останутся, сбрасывать в жестяное ведро. Клеенку на ночь протирать водой с нашатырным спиртом, и в подтверждение истины кто-то из нас этот спирт купил в аптеке — он стоил дешево.

Однако запах от нашатыря давал о себе крепко знать, и самый нравный из нас, филолог Арнольд Якуповский, устроил поутру вселенскую истерику, что от запаха у него трещит голова и он вынужден отказаться от посещения лекций по уважительной причине. Тогда придумали иное.

Я уже поминал добрым словом боты «прощай, молодость!», которые носило большинство из нас. На ботинки натягивали эту суконную, с резиновой подошвой, обувку, и полный порядок. В университетской раздевалке сдаешь ее, как сдавал бы калоши. В общем, кроме этого Арнольда, все пользовались ботами, и, залезая в очередной раз под свои тонкие солдатские одеяльца, которые справедливо можно назвать и студенческими, мы выставили боты, как и ботинки, возле своих коек.

Был назначен вечер, обозванный экспериментальным, мы даже улеглись в одиннадцать, чтобы потом еще разобрать результат операции, погасили свет, а на стол выложили пару кусков черного хлеба, при этом покрыв их для удобства потребителей.

Но не зря говорят, что крысы — самые умные из всех тварей и самые приспособленные к любым испытаниям: могут запросто перенести ядерную войну, потому что на них не действует даже радиация. Да еще и живут до ста лет! А мы по молодости и слабости естественно-биологических знаний всего этого не ведали и избрали способ войны самый что ни на есть пехотный.

Сперва умные крысы объегорили нас тактически. Несмотря на то, что мы погасили свет раньше, взяли в руки по своему боту «прощай, молодость» и напряглись в предвкушении атаки, в комнате стояла тишина. Крысы затаились.

Один Арнольд Якуповский издевался над всеми остальными, осмеивая наши неумные расчеты. Не затихая, он выдавал свои шутки, порой вполне себе остроумные, но нас это лишь раздражало, и каждый из остальных уж по разу-то крикнул ему, чтоб остряк заткнулся. Наконец он устал. А крысы не выходили. Стали расслабляться и невидимые во тьме бойцы. Слышались глубокие вздохи. Кто-то предложил плюнуть на все и засыпать, а то завтра ранний подъем. Начались сдержанные и бестолковые дебаты. Я лежал напротив стола, может, в метре от него.

Тьма стояла полная, но я учуял шуршанье. Сжав бот, до того прижатый к груди, я размахнулся и кинул его, метя в поверхность стола. Послышались сразу — крысиный визг и человеческий вопль. Похоже, одним ботом я зацепил крысу, но оружие, срикошетив, достало и Арнольда, что ли?

Остальные боты бабахали в стол, по столу, по тумбочкам и кроватям. Чтобы узнать результат сражения, кому-то требовалось вскочить и босиком подбежать к

общему выключателю. Это действие исполнил Минибай, но каким бы и кто бы ни был сверхрасторопным, эффект оказался нулевым.

Стол пуст, куски хлеба разлетелись, некоторые на пол, всклоченная братва восседала на койках, а Арнольд даже стоял, покачиваясь на пружинной сетке, как прыгающий на батуте акробат. Он закатывался в хохоте, мы, в общем, тоже не унывали. Хлебные остатки Минибай подмел, ссыпал в железное ведро для мусора, мы угомонились. А часа в четыре проснулись от грохота. Умная крыса, видать, стремилась поживиться, да стенки ведра оказались высоки, и она прыгнула вовнутрь — бывает ли такое? И грохот был совершенно жестяной, а значит, громкий, барабанный, хотя и одноразовый, и мы, матюгаясь, признали, что борьба принесет успех только следующей зимой при условии, что летом дезинфекционная служба города обработает все наши общаги! Мечты, мечты, где ваша сладость!

А крысы победили нас. Даже когда не оставалось ни крошки на столе, они громко грызли по ночам нижние углы наших тумбочек, дерзко вспрыгивали на стулья и обнюхивали нашу одежку, чтобы отыскать в ней остатки хоть какого заваливающего куска. Но тщетно! Ведь на спинках стульев висели штаны студентов голодного времени!

И мы смирились с крысиной оккупацией. Когда же кто-то включал по необходимости общий свет, хвостатые коллеги без всякого шума и гама неслышно исчезали, огорчаясь, похоже, звукам жестяного ведра, отзывающегося оптимистическим звуком на быстротекущую жизнь.

Это, похоже, звучало для них оскорблением.

## 10

В той комнате на Щорса, носом к носу, мы не то чтобы столкнулись, а буквально спихнулись с новым веянием то ли моды, то ли культуры.

Где-то там, в западных столицах некоей державы и на теплых югах, молодые люди вроде нас стали как-то вызывающе одеваться и обуваться, учить танец буги-вуги, жевать жевательную резинку и мечтать про кока-колу. Одним словом, отвязываться! Наш обаятельный завкафедрой партийно-советской журналистики, фронтовой офицер Борис Самуилович, привлек внимание к фельетону Семена Нариньяни, то ли в «Правде», то ли в «Известиях», под названием «Стиляги», и мы в перерывах образовали очередь к подшивке в читалке.

Из газетного сочинения, конечно, мало что поймешь предметно, ведь мало узнать про черные, например, очки — это как у слепых, что ли? — про гавайские рубахи — что за гавайские? — узкие брючки-дудочки и

дерзкую, громкую, ненашенскую музыку. Однако все это образовалось буквально под носом у нас в считанные дни, не более, с наступлением весны и приближением новой сессии.

И исполнил сию неказистую роль Арнольд Якуповский, парень длинный, хотя не скажешь, что нескладный, с железной фиксой во рту, но без всякого хулиганского обаяния, грядущий историк, на год постарше нас, не очень-то замеченный в кропотливых трудах над историческими томами.

На укору в этом нетрудолюбии он как бы отшучивался, что историю надо творить собственными руками, а все, что произойдет, изучают пусть новые, последующие поколения. И еще он высказывался в том духе, что новым людям подробное знание прошлого может идти во вред, потому что следовать старым примерам — а это очень часто и происходит — бывает вредоносно для будущих решительных перемен. Исторические примеры тормозят процесс развития, а не ускоряют.

Никто его речения всерьез не воспринимал, почти все подхихикивали над творцом истории, отрицавшим

ее существование, но, что удивительно, экзамены он сдавал свободно и особо преуспевал в иностранном, у него — английском языке. Он даже напевал, бывало, укладываясь, какие-то песенки по-английски, и мы, прислушиваясь к мелодии, находили ту или другую вполне симпатичной, просили Арнольда прибавить звука, и он демонстрировал недурные музыкальные способности, представляя нам неведомую культуру, в которой, конечно же, мы были ни бельмеса.

Порой, по настроению, Арнольд говорил, что обожает американский джаз, называл имена его основоположников — все негритянского происхождения, а мы знавали из них одного Поля Робсона, — и однажды вынул, к всеобщему удивлению, из тумбочки целую коробку из-под пластинок. Но в коробке были не пластинки, а целый пласт рентгеновских снимков. Смесь над нами — простофилями, да еще с журналистики, он показал на поверхности старых рентгенкартинок такие же, как на пластинках, круги. Но проиграть было не на чем, и на вопрос, откуда такие запасы, Арнольд, ничуть не смущаясь, пояснил, что прикупает это на Плотинке, по вечерам, когда менты теряют бдительность. Снимки



продаются, обмениваются и даже дарятся, если клиент демонстрирует увлеченность, поучал Арнольд, а на вопрос, кто это делает, пожимал плечами:

— Кто-то! Очень веселый!

Далее он совсем развязался, не удостаивая хотя бы легкой опаской своих сокомнатников по общаге. Приносил и уносил целые пачки рентгеновских записей, все это в чемоданчике, какие были и у нас, а потом в сумке, похожей на полевую, только больше, почти что портфеле.

Мы присутствовали при сем и оставались лояльны к Якуповскому, который однажды сообщил, что имеет отношение к польской шляхте высоких кровей, отбывавшей ссылку в сибирских просторах еще со времен восстания 1863 года.

— И вот эту, — он подчеркнул слово «эту», — историю я знаю весьма хорошо. И на своей шкуре.

А далее, в течение недели, а то и поболее, мы могли наблюдать, как, приклеив в какой-то мастерской к старым лыжным ботинкам желтоватую каучуковую, сантиметра в три толщиной, подошву, добытыми где-то напильниками начал выпиливать рубцы по краям той толстенной светлой подошвы.

Когда мы вечером вернулись из универа в нашу комнату, Арнольд сидел на краю кровати и яростно пилил. Клубилась пыль, которую он как будто радостно глотал, некороткие черные волосы его с пробором посередине нависли над лбом и глазами, а на носу висела потная капля.

Мы принялись комментировать увиденное в довольном шутовском стиле, на что сосед воскликнул:

— Не мешайте жить! У каждого своя история! Мне нужна эта!

И показал нам подошву, уже частично выпиленную, как зубцы обычной ручной пилы. Ботинки получались стильные, хотя сверху черные, а снизу белые. Вроде как обувной бутерброд. В конце концов Арнольд предстал перед нами в законченном виде.

Таким же веселым и светлым вечером он ждал нас во дворе неприветного нашего барака — явно чтобы погордиться, а может, и представить один из способов утверждения современной истории.

На нем висела цветастая рубашка с широкими рукавами, а брюки-дудочки, наоборот, обтягивали выпуклости не только сзади, но и спереди. На ногах же сияли ботинки с рифленой подошвой, которая выпирала во все стороны. Ноги смахивали, таким манером, на лягушачьи лапы.

Мы ахали, обходя его кругами, как невиданную скульптуру в парке, и Минибай спросил:

— А не надо подошву-то покрасить? В черный цвет! Под ботинок!

— Ты что-о-о-о! — взвыл потомок древних шляхтичей. Потом застонал: — Ну я говорю, они не врубаются в новейшую историю!

— Куда собрался-то, стилинга? — не унимался Минибай.

— Куда-куда! На Плотинку! — И он подошел к поленнице, которая создавалась для новой зимы, и поднял свой портфель, прислоненный к вовсе не исторической реальности.

— Хелло, френды! — проговорил он напыщенно и скрылся по улице Щорса.

Что бы сказал ему, подумалось мне, красный коммандир? Но Щорс так ничего и не сказал. Ведь история — хоть и красноречивая, но молчаливая вещь. Совершенно при том непредсказуемая.

Арнольд вернулся за полночь, когда все остальные в комнате улеглись, но еще не спали, травили сто раз слышанные анекдоты, лениво, в полудреме похотатывая. Дверь распахнулась, вспыхнул свет, и мы увидели Арнольда трясущимся, в рваной рубашке на голом теле и с пустыми руками. Что случилось — об этом не стоило спрашивать. Он и так без конца повторял:

— Проклятые комсомольцы! Проклятые комсомольцы!

— А ты чо, не комсомолец? — насмешливо спросил Минибай.

Арнольд ответил убито:

— А куда денешься?

И как был, в рваной своей одежде рухнул в кровать, успев сбросить свои драгоценные стилинжки лапти.

## 11

И еще одна картинка тех времен — начала июня пятьдесят пятого года.

Французский позади, готовились по зарубежке, предстояло много и быстро начитать, я взял в общежитие Томаса Манна, кого-то еще, не упомяну, и «Седьмой крест» Анны Зегерс. Этот роман стоял в билетах отдельным вопросом.

Ребята засобирались в университет, а я заявил, что хочу почитать здесь, но в комнате было влажно, неприветливо, и я залез на поленницу дров во дворе, благо что она сложена широко, и, расстелив одеяло под спину, раскрыл книгу.

Сияло солнце, я скинул майку и штаны, никто меня не стеснял, никто не заглядывал на верх поленницы, и вдруг мне стало так хорошо, так сладостно жить!

Сара Христофоровна сняла с меня камень, и я задумался о себе. Мне подумалось, что хочу скорее закончить учебу, уехать на работу, писать, дежурить в газете, печататься, хоть многого еще не хватало, да

и не бросишь же учење, едва отбарабанив два курса. Я положил «Седьмой крест» на лицо, чтобы не слепило солнце. Спать не хотелось, но и не хотелось ни о чем думать. А у меня все-таки мелькнуло: что бы я отдал за то, чтобы все это разом, вот сию минуту кончилось? И сразу началось бы мое взрослое продолжение?

Каким оно будет? Чего мне хочется? Я этого ничегошеньки не знал. Но очень, очень, очень хотел — перебежать это поле поскорей! Чему-то бы выучиться! К кому-то прийти! Очень по-взрослому я понимал, что в этом будущем, которое в конце поля, меня не ждут радости и сладости. Но там ждали меня опыты с самим же собой и над самим собой.

И еще, лежа под книжкой по имени «Седьмой крест», крышечкой на лице, я представлял: вот придет же ко мне в этом грядущем времени полная и совершенная свобода! Должна прийти! Мне не нужно будет беспокоиться об экзаменах, о деньгах на еду, об обязанностях перед другими! И вот в один такой миг абсолютной свободы я лягу точно так же, как сейчас, на поленицу, и на мне не станет лежать «Седьмой крест» или иная какая нужная книга, а я просто стану глядеть в глубокое, бездонное, счастливое небо и постараюсь продлить это бесконечное счастье — до невысказанного беспредела!

Мне так хотелось свободно жить!

«Седьмой крест» был про немцев, приход фашизма и предательство немцами друг друга, когда любовь и родство даже превратились в прах. Роман потряс меня отчаянной безысходностью, о чем я поведал строгому профессору по фамилии Канторович едва ли не со слезами. Он растроганно вглядывался в мое лицо, отыскивая на нем что-то мне неясное, вздохнув, поставил пятерик, и безмятежный, счастливый, обнадеженный, я засобирился к родителям, чтобы, почитав всласть, повалившись на стеганом одеяле под вишнями, позагорав со здешними дружками на неказистом пляже, вернуться назад в великий град, по-прежнему тяжело дышащий, гулко ухающий, громко звенящий.

Наступала вторая половина пятьдесят пятого, и надвигался пятьдесят шестой.

## ПОВЕСТЬ ПЯТАЯ

### МЫ СРЕДИ ДРУГИХ

#### 1

Сдал я на стипешку и следующую сессию, снова уехал домой на зимнюю побывку, в каникулы, ясное

дело, щеголяя по морозцу и в день возвращения вспыхнул, как огонь. Мама, прибежавшая с работы, поставила градусник, вызвала врача, а та — скорую помощь с носилками. И вот два амбала тащат меня по дворику на носилках, а я и смеюсь, и сержусь, и говорю маме с недоумением:

— Ну неужели я сам не дойду?

В городской больничке меня из носилок переставили под душ, не очень к тому же горячий, а когда я запротивился, две тетki громким криком разъяснили, это не душ, а дезобработка, и по стране еще гуляет тиф!

Вот тут мне стало плоховато, но уже не на носилках, а пехом меня провели в палату, полную народу, положили под тоненькое одеяльце, и я выпал в осадок. Потерял сознание. Вернула к нему врачиха с ваткой, намоченной нашатырным спиртом, а послушав стетоскопом грудь и спину, надолго исчезла.

Где-то во врачебном закулисье она утвердила мой диагноз — двустороннее крупозное воспаление легких, меня опять уложили на носилки и отнесли на рентген, где стоял, прижатый холодными пластинами, едва удерживаясь от странной морской качки.

Дело было молодое, но в тяжелом варианте, мама прибежала подкормить меня чем-нибудь домашним — а она не только захватывала свой госпитальный халат как медработник соседнего учреждения, но еще и каких-то начальников медицинских как-то включила. В общем, меня кололи и в задницу, и в руку, а температура все не падала, и я время от времени оказывался в неестественном сне, лучше сказать, забытье.

Несложно понять, что все происходящее меня не трогало, было до фени, вроде как и вовсе уже не существовало. Я и себя-то представлял с трудом — а был ли я-то на этом свете?

Похоже, пенициллин, излечивающий пневмонию, пребывал тогда в состоянии еще редкостном, и в коридорах громкими голосами глуховатых, что ли, медсестер, я слышал оценки своего состояния более чем откровенно.

— А где я тебе возьму! — кричала одна.

— Распоряжение главврача! — убеждала ее другая.

— Ну и неси сама! На складе-то нет!

И все-таки эти похожие белые тени, вступая в палату, торжественно, как какой-то приз, несли прямо перед собой шприцы на вытянутых руках, иглой вверх, и спасительно втыкали их в меня при молчаливом моем непротивлении. Вот когда я научился терпеть! Из таких болезней в те времена выбирались не просто долго. А мама, как выяснилось позже, выпрашивала у начмеда своего госпиталя несколько упаковок ценного препарата.

Я провел в больнице два полных месяца и совершенно отстал от действительности. Зато приехал сразу в другое общежитие, на Чапаева, опять героя революции, как третьекурсник, то есть студиоз, переваливший через экватор.

Но встречен был сдержанным малословием.

## 2

Что такое? Мои братишки-болтуны Минибай, Вовка Потников с пачкой открыток, где великое искусство мира, Яшка, Игорек Коробкин, Генка Шидрин говорили со мной вяло, сначала задумываясь про что-то, хотя историю моего отсутствия приняли сочувственно, но недоверчиво — с трудом принимая на веру, что можно провести в койке целых два месяца.

Я даже малость притих, удивляясь, — что за недоедание? Может, я на курорте каком расслаблялся? Я ведь и больничный привез!

В тот же вечер Минибай позвал меня посетить титанную — комнату, где вечно грелся огромный электрический бак и всегда можно нацедить чайник кипятка для любого из жильцов четырехэтажного, вполне себе пристойного, общежития. И поведал мне про события, которые пролетели надо мной.

В титанной было сумеречно — горела лишь лампочка в коридоре, — влажно и тепло, и Минибай, как и комсорг к тому ж, рассказал, что в начале марта в самом большом зале собрали по спискам всех партийных и комсомольцев. При входе стояли непонятные мужики и выпускали по комсомольским билетам.

Потом вышел ректор и объявил, что будет зачитано закрытое письмо партии, но обсуждения не предполагается. Просто надо выслушать и принять к сведению.

— Читали, — повествовал он, — почти два часа в полной тишине, ни один стул не скрипнул. Потом все встали и молча вышли. Когда выходили, отметил он, все прятали глаза. Никто ни на кого не смотрел.

И дальше он стал сумбурно — не путаться невозможно — рассказывать, что говорилось в этом письме про Сталина, которое читает сейчас в закрытом порядке вся страна.

— А где же все они, суки, были? — негромко спросил я, подразумевая тех, кто послание сочинял. — Не верю я им!

Минибай откликнулся, подумав:

— Только не брякни это где-нибудь! В том-то и дело, что продолжение следует. Слушай дальше.

Наутро комсоргов курсов и факультетов собрали на отдельное собрание и велели всякую студенческую болтовню и дурь гасить на корню. И тогда комсорги двух-трех старших курсов, да чуть ли и не хором, за-

явили, что хотят снять с себя полномочия, потому как народ бурлит, недоумевает и требует сходимки. Там был почти весь партком, и тогда решили провести большое собрание, выпустить пар, но, как сказал какой-то взрослый умник, «в управляемом режиме».

И вот произошло это собрание. Комсомольский комитет попробовал о чем-то там отчитываться, но выскочил Черкинов с четвертого курса и взбаламутил все море. А потом его дружок Карпевич. Наконец, наш Джурка.

Все во мне начинало раскачиваться: тоже хотелось вскочить и крикнуть что-то несогласное, но я, во-первых, опоздал, а во-вторых, пока еще и не знал, что крикнуть-то.

Минибай будто чуял мою внутреннюю температуру.

— Они примерно то и кричали, что ты думаешь! Не верим! Почему нас тогда обманывали остальные? Кто управляет нашей страной! Почему Молотов, Ворошилов и кое-кто еще, известные соратники Сталина, молчат? Где они? Почему их не слышно!

— А Джурка? — спросил я.

— А он кричал, что не хочет жить по-старому, хочет по-новому! Что надо больше свободы молодым! Что в комсомоле царствуют тихони, и он не похож на комсомол, который делал революцию. Начальники оторвались от молодежи, не дают ей развернуться, проявить инициативу.

— Во дает! — пожимал я плечами. — И как это все понять? Чего вдруг сорвался?

— Да в том-то и дело, — негромко увещевал Минибай, — наоравшись, он ушел с собрания. Говорят, напился у себя на квартире, и Виннер — он же с ним! — говорит, что ждет, когда арестуют.

— Ну да! — восхитился я. — А за что?

— За болтовню! — ответил Минибай и проговорил, взяв с меня слово не проболтаться: — Меня уже вызывали кое-куда и сказали, что речь идет об исключении.

— Откуда?

— Из комсомола. А значит, из университета.

В титанную заскакивал народ, девчонки с чайниками ойкали, завидев в полутьме две наши полусогбенные тяготами фигуры.

— Что касается комсомола, то я с ним согласен! — произнес я.

— И я тоже, — ответил Минибай. — Но что надо делать-то? Ты знаешь?

— Нет! Но где-то люди восстанавливают Сталинград, Белоруссию, Украину, — ответил я, — надо набраться терпения, закончить, тогда, глядишь, и нас куда-нибудь отправят.

Минибай кивнул.

— Я думаю, — ответил он, — Джурке так и надо объяснять свое поведение, когда начнется разборка. И еще. Ему придется извиниться. Публично притом. На собраниях, похоже.

— Он не станет! — почти уверенно сказал я.

— Тогда и его тут не станет.

### 3

Учение казалось мученьем. Спокойных лекций не осталось. То кто-то, подняв руку, просился выйти. То, наоборот, зайти. Минибая вызывали, Джурка рисовал в тетрадке чертиков и чертовок, которые владели им, жил притаившись, будто успокаивался. А может, наоборот, раздувая в себе жар.

Увидев меня после болезни, не обрадовался мне, только констатировал:

— Пропустил, счастливец!

Выходило, я умышленно выскочил то ли из-под троллейбусной шины, то ли из-под колеса истории.

— И что ты раньше все помалкивал, — спросил я в ответ. — А тут взбеленился?

Пошутил вдобавок:

— Может, у тебя есть план реорганизации рабкрини?

Это, кто не ведает, рабоче-крестьянская инспекция, на такие темы спорили при Ленине, и мы конспектировали те давние споры для экзаменов.

Он смотрел сквозь меня и кивал головой, будто что-то кому-то возражал. Ясное дело, не мне.

Ну а уже исключенных из комсомола Олега Черкинова и Славку Карпевича публика жалела по-другому. Они не ходили на лекции, хотя никто их пока из университета не исключал, толкались в коридоре и почти никогда не были одиноки. Тут всегда вертелись жалостливые девчонки, тетя Дуся, как скоро стало известно, кормила их по кредитному листу, время от времени возле них стояли Борис Самуилович, как всегда с орденом на лацкане, или Зиновий Абрамович — они в основном убеждали протестантов идти в аудитории и продолжать учебу.

Но нет! Протестанты упирались спинами в стены, или сидели на широких подоконниках в торцах коридоров, или дымили сигаретами в туалетном аванзале, где люди могут мыть руки сразу из десяти кранов с ледяной водой.

Водили они хороводы и в общаге, случалось, на лестничных площадках, и тогда являлась комендантша, шептавшая:

— Ребята! Совесть имейте! Ступайте в комнаты и там трепитесь!

Чего-то она опасалась. А в комнатах и без всяких указаний шел треп. Кому это понадобилось, говорила

одна сторона дискуссионтов. Ленина он продолжил, троцкизм разрушил, индустриализацию завершил, войну выиграл с небывалым успехом, поразив мир, даже восстановления почти что завершил!

Другая сторона вскипала, что хоть Ленина он славословил, зато Крупскую, оказывается, отшивал, всю Красную армию обезглавил, перед самой войной, с Гитлером пакт заключил, ленинские кадры рассовал по разным лагерям, культ свой вознес до небес, что же касается троцкизма, то и здесь еще не все понятно — шла борьба за власть, вот и все!

Черкинов рассказывал, что его отца, секретаря райкома с Алтая, упекли в Магадан по 58-й статье, и он, его сын, до сих пор не знает, жив ли батя. Да и студентом он стал потому, что мать разошлась с отцом еще до войны, и Черкинову дали ее фамилию, к тому же они уехали в Казахстан, отцовские знакомства вроде оборвались, а в Казахстане он заслужил золотую медаль к аттестату. Ничего не попробовав лично, Черкинов откуда-то знал тучу историй про НКВД, ночные аресты, расправы судебных троек, рвы с расстрелянными, которые не могли быть врагами народа, потому что и были сам народ.

Карпевич жил на частной квартире, и тот же Черкинов без конца цитировал его рассказы, слышанные по какому-то иностранному радио. Вслед за Карпевичем он вопрошал: почему все это не говорят и у нас? А раз не говорят, значит, скрывают!

Мы сживали как какие-то, может быть, цапли, на кроватях, по трое-четверо, даже жались друг к другу, зато хозяин койки мог возлечь, вешая, и, грубо говоря, хлопали ушами, хотя цапли не имеют видимых ушей.

Черкинов порой блистал, выдавал почти афоризмы. И хотя потом они оказывались общеизвестными прописями, произнесенными для многих сразу, отзывались в наших сердцах чистым, хотя и не во всем признаваемым, сочувствием.

Например, он не говорил, а возжигался такими посланиями:

— Правда не может быть неправдой. Она может быть неудобной, но от этого она не становится неправдой!

Или что-то вроде такого:

— Завтра — что это такое? Будущее — или будет! Или его не будет!

Еще излагал идею отсутствующего тут Карпевича:

— Москва не знает, что происходит на Урале! нас исключили из комсомола! За что? За то, что мы поддерживаем закрытое письмо? Концы с концами не сходятся!

Из девчачьих комнат с нами почти всегда — или очень часто! — сидела Нинка Тимохина. Была она опрятная, чистенькая, круглолицая, неулыбчивая, и оттого,

похоже, носила на себе ношу, для девчонки вроде непосильную. Тимохина была секретарем комсомольской организации всего отделения журналистики. Не то чтобы мы ее побаивались, но ее плакатный положительный образ требовал почтения, что ли, уважения неизвестно за что, частичной робости и почти полного нежелания с ней долгого общения.

Говорили так: «Привет!» — «Привет!» — «Здравствуй!» — «До свиданья!» Да и всё! Это бедняге Минибаю приходилось с ней беседовать, сдавая ведомости и членские взносы за весь курс, а остальным такое сближение не требовалось.

Но вот, сидя на чьей-то мальчишечьей койке и, помнитса, отдельно, а не плечом к плечу с нашим братом, она вдруг явила нежданную отвагу.

— Парни! — проговорила она. — Мы все запутались! И в спорах про Сталина можем потерять наших товарищей. А пусть Черкинов и Карпевич поедут в Москву. И расскажут всю правду о сложившейся обстановке.

Потом конкретизировала дело:

— Давайте скинемся им на дорогу!

Не то чтобы стон, но глубокий выдох прокатился по комнате. Не такие уж были мы недоумки, плохо оценивающие окружающую действительность. И несложно было сообразить — это форма протеста. Против чего или кого, пока непонятно, но уже возникало общее дело. Про общее дело толковали декабристы, Чернышевский. Ну, они противились царизму, а мы кому?

Однако времена переменились! И теперь предлагает собрать деньги не кто-нибудь, а комсомольский секретарь. С плаката сошедшая, вполне себе умная и отважная девчонка! Как тут увильнешь?

Сборщиком вызвался стать Борис Рябиков, с которым мы прорывались в ученье. Что ж, это была толковая идея! Тимохина загоралась все более и более.

— Если чего, — сказала, поднимаясь, — валите на меня! Семь бед — один ответ! И так всех кошек на меня вешают!

Собирали и собирали — быстро. Розовощекий козлик Рябиков набрал на этом невиданный авторитет: он уже не сучил ножками, не лыбился робкой улыбочкой, даруемой всем подряд, а стягивал, хмуря их, свои белесые бровки, слегка вниз оттопыривал подбородок и каким-то неясным образом сжимал губки почти в одну плоскость, лишь через раз отвечая на многообразные вопросы.

Естественно, и не раз, и не два Джурке задавался вопрос: а ты с ними не желаешь? Ты же третий! И для нас оставалось великой тайной, что он не просто отмахивался при почти всяких вопросах, но и молчал, как партизан.

Часто удалялся с лекций, и его никто не требовал к ответу. Обедать у тети Дуся в нашей теплой компании почти перестал. Некоторые знатоки окружающей среды не раз фиксировали, что он идет куда-то по улице с Аленкой Грачевой — была такая розовощекая второкурница-филологичка с русыми косичками — по совместительству дочка профессора Алексея Ивановича Грачева, профессора кафедры русской литературы. Боба Виннер, наш третий по комнатухе Анапы, мельком сообщил мне, что Джурка стал не всегда ночевать, хотя за жилье платит исправно, но я не обратил на то никакого внимания: мало ли кто и где ночует?

#### 4

Между прочим, на отделении — именно так! — появилось и автономно существовало местечко, к образованию которого моя персона, как постепенно выяснилось, имела прямое отношение. Сначала объявился факультатив под названием «Фоторепортаж», но, главное-то, сделали учебную фотолабораторию, которую возглавил хитрован по имени Иван Иванович. Он всегда ходил в синем халате, достаточно вместительное помещение, отданное ему, имело четыре отдельные лаборатории, одинаково оснащенные фотоувеличителями для узкой пленки, красными фонарями, ванночками для печати и проявочными бачками.

Иван Иванович откуда-то знал про мое письмо и обзоры в «Советском фото», впускал меня для моих фотографических надобностей любовно и безотказно, и я, бывало, часами сидел в этих темницах — то проявляя, то печатая, а потом представляя общественности мои скромные рукоделия.

Такая прелестная предпосылка для последующего тайного события как бы явилась сама собой, когда я, побыв свидетелем и даже соучастником неуспокаивающегося беспокойства, однажды спросил Минибая, окружающее сообщество и самого себя: «А ведь один я из всех тутошних не слышал закрытого письма!» Можно с ним ознакомиться?

Осторожный Минибай сперва перепугался, потом, поразмыслив, передал мой запрос завкафедрой партийной и советской печати Борису Самуиловичу, и в следующую же перемену тот подошел ко мне, похвалил мой ответственный интерес к жизни страны и сообщил, что до шести вечера я могу прийти в общий отдел райкома комсомола. Надо только не забыть комсомольский билет.

Робел ли я, отправляясь в райком? И на какого рожна мне это сперлось? Сказать по совести, я и сам не знал. Но бывают в жизни отдельных людей, в частности у меня, такие мгновения, когда идея, которую бы сна-

чала-то лучше обдумать, мысль, а то и простое словцо, вдруг бесконтрольно вырываются из тебя помимо всякой осторожности, и далее они вовлекают в какой-то круговорот, требуя продолжения и даже исполнения сказанного. Даже, кое-когда, вызывают к совести или, простите за высокопарное выражение, к чести.

Однако кто это был такой — уральский студентка, из себя ничего не представляющий? Начитался стихов, восхваляющих вождя? Но разве поэты не восхваляют каждого правителя, чтобы добиться расположения и, несомненно, преимуществ — с самых древних еще эпох, а мы уже прошли курс античной литературы!

Ну и вообще-то! Если все, хоть и шатко-валко, куда-то же движется, да и вперед, к будущему, — не надо о всей стране и народе!

Раз вы не в силах ничего переменить, так плывите по этой широкой и глубокой реке, называемой жизнью! И гребите! Но не к берегу, а вперед!

Так я осаживал, уговаривал, примирял себя с действительностью, а сам, в совершенном одиночестве, шел к известному зданию райкома, где мы однажды отбивали от кого-то неведомого нашу верную тетю Дусю.

И все возвращался почему-то мыслями к тому пожилому дядьке, Федору Тимофеевичу, который нас спросил:

— А что вы думаете о Сталине?

Почему он тогда спросил об этом нас? Да что мы думали? Великий вождь и учитель — так полагалось откликаться на такие вопросы два года назад. А теперь? Что бы сказал нам о Сталине этот симпатичный человек? Впрочем, он ведь и тогда — спрашивая, не возражал, но и не говорил.

Да и что там в этом, отчего-то закрытом от всех, кроме коммунистов и комсомольцев, письме?

Я отворил дверь в общий отдел райкома, показал комсомольский билет, тетенька неопределенного возраста, но уж далеко и не комсомолка, вписала мои данные в бухгалтерскую книгу, велела расписаться, а потом открыла сейф и дала мне тоненькую книжицу в красной корочке с устрашающим грифом «Секретно». Предупредила:

— Записи делать нельзя, читать только здесь. — И указала место за ничейным, видать, столиком у окна.

Пришлось читать вскоростную, а то пришлось бы конспектировать, и это запрещалось, но многие имена и факты я узнавал впервые, и это приходилось закладывать в закрома, хоть и молодой, но не безграничной памяти, на потом, дальше, спотыкаясь о них в газетах, журналах или простых разговорах, приближать их к

себе, вспоминать, где узнал об этом впервые. И — не зная, что с этим делать!

Тетенька, управляющая «общим» отделом, не проявляла излишней бдительности, верила мне, рядовому комсомольцу, правда, с именем и номером билета, вписанным в журнал, а потому все куда-то выходила. Правда, быстро возвращаясь, отрывисто отвечала на телефонные звонки, а я, спотыкаясь, брел по историческому документу, по лесу, заросшему густым кустарником, приходилось продирается сквозь собственные незнания. Когда дошел до последней странички, дверь растворилась, и в ее проеме я увидел того самого Се-рафима Юрьевича. Имя и отчество, надо заметить, вернула в мою голову здешняя тетенька: по телефону она то и дело поминала его.

Он поглядел на меня, приспустив очки, рассмеялся незлобиво:

— Редко, редко забредаете, товарищи студенты!

А разглядев, чем я занят, прибавил:

— Да и по случаям-то все чрезвычайным!

Я встал, не знал, что ответить, и вообще, что я должен делать, кроме как улыбаться. Он еще глянул на стол, увидел, что передо мною последняя страничка, и проговорил:

— О! Ты уже на финише. Ну загляни, как закончишь! На минуту! Дело есть.

И исчез. Мне бы тут и сдать секретную брошюру, а я, наоборот, впился глазами в последнюю страничку. И глазам своим не поверил.

На столе, за которым сидел, лежало несколько листов бумаги и пластмассовый стаканчик с карандашами. Тетка вышла, и я, подсунув лист под брошюру, принялся лихорадочно списывать самый что ни на есть конец этого секретного сообщения.

Но ведь он как будто бы все отрицал, этот самый финиш — вот что я понимал! Все тут оказывалось наоборот. Я лихорадочно соображал: как это понимать? Почему такое завершение такого тяжкого обвинения? Ведь оно почти все извиняет.

Я перечитал два длинных, вполне официальных, может быть, даже торжественных абзаца, а тетки все не было. Что-то случилось, какое-то произошло послабление в системе, может, только моих личных координат. Учение утверждают, что такое случается.

И я переписал, не ленясь и не страшась, огромную и, как мне показалось, не совпадающую ни с чем цитату:

«Бесспорно, что в прошлом Сталин имел большие заслуги перед партией, рабочим классом и перед международным рабочим движением. Вопрос осложняется тем, что все то, о чем говорилось выше, было совершенно при Сталине, под его руководством, с его согласия.

Причем он был убежден, что это необходимо для защиты интересов трудящихся от происков врагов и нападок империалистического лагеря. Все это рассматривалось им с позиций защиты интересов рабочего класса, интересов трудового народа, интересов победы социа-

лизма и коммунизма. Нельзя сказать, что это действия самодура. Он считал, что так нужно делать в интересах партии, трудящихся, в интересах защиты завоеваний революции. В этом — истинная трагедия».

Полная амнистия!

Продолжение следует.